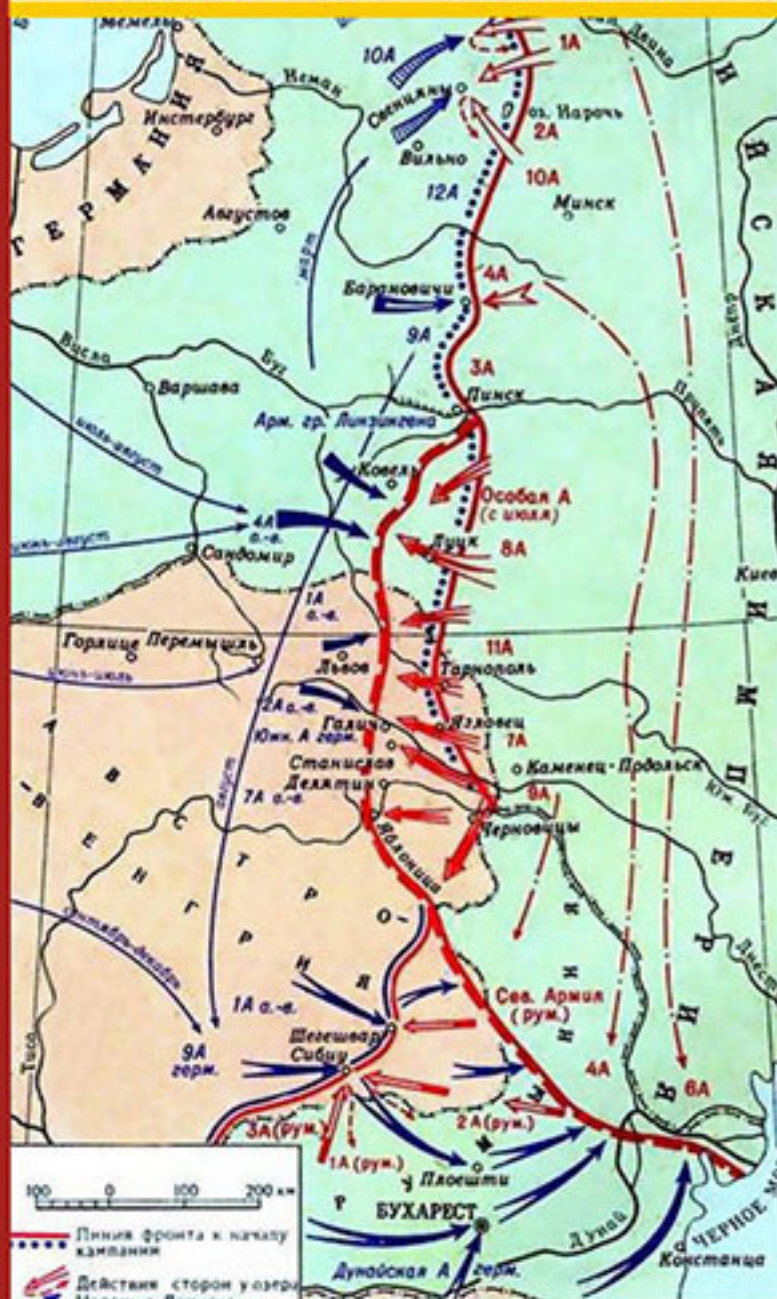


100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ



С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

*Пушки заговорили
Утренний взрыв*

Преображение России

Сергей Сергеев-Ценский

Пушки заговорили.

Утренний взрыв

«ОМІКО»

1944, 1951

Сергеев-Ценский С. Н.

Пушки заговорили. Утренний взрыв / С. Н. Сергеев-Ценский — «ОМКО», 1944,1951 — (Преображение России)

Романы известного русского советского писателя С. Н. Сергеева-Ценского (1875–1958) «Пушки заговорили» и «Утренний взрыв» входят в эпопею «Преображение России» и объединены не только тем, что рассказывают о Первой мировой войне, но и общим героем, художником Сыромолотовым. Роман «Пушки заговорили» повествует о первых месяцах войны, о том, что происходило в Галиции и Восточной Пруссии. «Утренний взрыв» рассказывает о событиях, произошедших в Севастополе 7 октября 1916 года, – взрыве линкора «Императрица Мария» в Севастопольской бухте.

© Сергеев-Ценский С. Н., 1944,1951

© ОМКО, 1944,1951

Содержание

Пушки заговорили	5
Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	32
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Пушки заговорили. Утренний взрыв

Пушки заговорили

Глава первая Первые шаги пушек

I

Так же точно, как русский император Николай II любил молчать и слушать, что говорят другие, германский император Вильгельм II любил говорить и наблюдать, как его слушают.

Громкий, резкий, самоуверенный голос его неумолчно раздавался и за обеденным столом во дворце, и в охотничьем домике в Роминтенском лесу в Восточной Пруссии, и где бы то ни было в другом месте, в интимном его кругу. Он был прирожденный говорун, всегда полный мыслей, которые, как ему казалось, имели бесспорно важнейшее значение для всех его подданных, начиная с канцлера.

Он охотно выступал и в церквах, как проповедник, одеваясь пастором. Считая себя исключительным знатоком всех искусств, он давал советы, звучавшие, конечно, как приказы, писателям, композиторам, художникам, архитекторам, скульпторам Берлина и других крупных городов Германии. Даже скромные, привыкшие рыться в прахе развалин древних городов археологи не могли избежать его многословных указаний. Даже богословы должны были часами выслушивать его соображения по вопросам их специальности: не он ли, император великой Германии, был гораздо ближе всех богословов к «старому германскому богу»?.. Даже Станиславский, режиссер Московского Художественного театра, приехавший на гастроли в Берлин, был вызван им в императорскую ложу, чтобы узнать от него, Вильгельма, как он смотрит на театр вообще и какие к нему требования предъявляет.

В день объявления Германией войны России – 19 июля 1914 года – Вильгельм тоже счел нужным обратиться к берлинцам с пламенной речью.

Он говорил с балкона дворца. Момент был исключительный и толпа слушателей огромна.

Здоровой правой рукой кайзер делал широкие жесты, а в левой, бездеятельной сухой руке держал какие-то бумаги.

– Дети мои! – начал кайзер. – Дети мои! – повторил в полный свой голос. – Нам объявили войну! Изменнически и подло русские объявили нам войну!.. Вот пачка писем русского царя в моей руке. В них меня уверяли в дружбе, а в это время на меня и на вас, дети мои, вероломно готовили нападение! Дети! Вы прочтете эти письма и увидите, что русские – изменники и предатели... Им мало того, чем они владеют, – они хотят подчинить себе все и всех! Они хотят, чтобы мы были их рабами. Но лучше умереть на поле чести, чем сделаться рабами этих варваров. Лучше смерть, чем позор, не правда ли, дети мои?

Что могла ответить толпа немцев на слова царственного оратора? Она притиснулась к самому балкону (кайзер говорил со второго этажа дворца), она заревела, завопила неистово:

– Nieder mit den Russen! Todt den Russen! Unser Kaiser hoch!¹

¹ Долой русских! Смерть русским! Ура нашему императору! (нем.)

Вильгельм видел, что произвел впечатление, какого и ожидал. Ему пришлось сделать несколько взмахов правой рукой, пока толпа, наконец, затихла, и он смог продолжать:

– Дети! В тысяча восемьсот семьдесят седьмом году русские воевали с Турцией будто бы ради освобождения христиан от мусульманского ига. Мой дед, которого вы знали и любили, помог тогда России. Он думал, что русские действительно вели войну за христиан. Но они вели ее для себя. Они отобрали у румынского короля его земли и часть их взяли себе, часть отдали болгарам, которых подчинили своей власти. Это и значило, что они сражались за христианство!.. Они говорят, что защищают христиан на востоке. Мы знаем теперь, как они защищают. Они хотят сделать их своими рабами! Но разве мы худшие христиане, чем эти варвары? Почему они одни считают себя покровителями христиан? Мы сумеем их защитить и сами. Они же, русские, защищают разбойников и убийц сербов, которых наша верная союзница Австрия хотела наказать. Неужели же мы позволим им это сделать? Неужели позволим им, чтобы наши братья австрийцы попали в русское рабство?

И снова на прямой вопрос кайзера завопила толпа:

– Nieder mit den Russen! Todt den Russen!

Но не все еще было высказано кайзером. Снова он замахал рукой и, когда настала тишина, закончил так:

– Дети! Немецкий крестьянин зачастую не имеет клочка земли, чтобы посадить для себя картофель. Он доходит до того, что сажает картофель на крыше своего дома. А у многих русских помещиков земли больше, чем у баварского короля. Не забудьте, что через четверть века вас будет двести миллионов, так неужели же ваши дети будут умирать в русском рабстве? Неужели мы сдадимся? Нет, лучше смерть на поле чести! Правда, дети? Надо низвергнуть нашего врага! Долой русских!

Он ушел в комнаты с балкона, а толпа бросилась от дворца по улицам с криками: «Долой русских собак! Смерть русским!»

Вильгельм до разрыва и войны с Россией числился шефом русского пехотного Выборгского полка. Однажды, будучи еще молодым императором, он посетил царя Александра III летом, когда шли большие нарвско-царскосельские маневры. «Взяв» тогда вместе со своим подшефным полком какую-то высоту, он своим подвигом так был доволен, что сказал командиру полка:

– Я горжусь тем, что состою шефом Выборгского полка. Я буду ходатайствовать перед государем, чтобы полк мой получил отличие.

– Полк уже имеет отличие, – отвечал полковник.

– О да, я знаю, знаю: серебряные трубы, – припомнил Вильгельм. – Но за что он получил их?

– За взятие Берлина в Семилетнюю войну в тысяча семьсот шестидесятом году, – браво доложил полковник.

Вильгельм нахмурился, но только на мгновенье.

– Надеюсь, что больше уж никогда этого не будет, – сказал он и добавил: – Надеюсь, что мой полк получит от своего шефа золотые трубы за сражение не против моих войск, а вместе с моими войсками и под моей командой!

Это было сказано кайзером давно, но надежда стать во главе русских полков – Выборгского и других, изменила ему лишь теперь; однако в нем жила уверенность, что ненадолго. Только вместо добровольного подчинения русских войск ему, кайзеру Вильгельму, произойдет подчинение силой, которую непобедимые германские полки проявят в недалеком будущем на полях России.

Однако, по плану генерала Шлиффена, прежде чем привести к покорности Россию, должна была сдаться на милость кайзера ее союзница Франция.

II

Мысли многих людей, считавших себя передовыми, воплощенные в миллионы машин, придуманных для истребления, тяжело и грозно перешагнули через границу Германии, перешагнули через маленький Люксембург и вступили в Бельгию, чтобы с наивозможной быстротой перешагнуть и через нее и обрушиться на Францию.

Говорилось и писалось: в такой-то армии столько-то штыков, сабель, пулеметов, легких и тяжелых орудий, – и считалось, что этого вполне довольно для понимания.

Что оторванные от своих семей, от своих – больших ли, малых ли – мирных созидательных дел миллионы людей шли для того, чтобы направлять в других людей все эти машины сражений – зачем было говорить об этом? Тем более, что этих людей убеждали в том, что они творят свою, а не чужую волю, что творят великое и вечное: мировое господство Германии.

Сначала марш на запад, после того – марш на восток, – два победоносных марша, и – «до осеннего листопада», как говорил кайзер, Германия станет владычицей континентальной Европы.

Какая-нибудь иная мыслишка и могла допытываться оправдания для начала таких неслыханных и невиданных по своим масштабам военных действий, но оправдание было давно наготове и брошено ей походя, между прочим, с великолепным жестом возмущения: «На нас нападают, мы защищаемся, а самое лучшее средство защиты – самим напасть!»

Важно было подготовить солдат и офицеров; важно было дать им в руки самое лучшее оружие, первоклассную технику, какая могла быть изобретена где же еще как не в Германии, стране воинов; важно было рассмеяться, как Вильгельм, когда он говорил о французах: «Они думают еще бороться с нами, не имея тяжелых орудий!» Важно было, наконец, двинуть семь армий на запад, оставив восьмую охранять Восточную Пруссию от возможного посягательства русских, – и вот заколыхалось, загрохотало, всех привело в ужас то, что называется войной, и где же могли найтись силы, способные остановить ее, остановить то, что совершалось по прекрасно обдуманному, разработанному во всех мелочах плану теми, кто хотел нового передела мира?

Главное было – план: систематически работающая мысль нанизывала силлогизмы на длинную и прочную нить, способную выдержать испытание времени. «Если такая-то из наших армий появится тогда-то и там-то, она займет то-то и то-то; если она займет то-то и то-то, этим она поставит под наш удар такие-то и такие-то крупные опорные пункты противника»... Цепь этих силлогизмов заканчивалась именно тем, что всего более хотелось всем в Германии: «К такому-то сроку (о, разумеется, к ближайшему!) победоносно будет закончена наша война».

С наименьшей затратой и сил и жизнью достичь наибольших результатов, какие когда-либо в истории человечества достигались каким-либо народом, – разве не стоило ради этого забыть тьму мелких повседневных забот? Перерядиться и тут же переродиться; почувствовать локоть товарища, шагающего с такой же винтовкой, как у тебя, – и вот ты уже на высшей ступени, на какую только могла вознести тебя жизнь: ты идешь раздавить Францию и привести к рабской покорности заносчивых парижан; оципанный тобою галльский петух будет биться в твоих мощных руках, пока ты не свернешь ему шею.

Мощь, ощущение непреодолимой силы в твоём теле, разве это не полнота счастья? Но ведь не только это. Мобилизация физических сил немыслима без такой же мобилизации сил духовных.

Где торжество силы, там торжество права; где торжество права, там торжество духа, в здоровом теле – здоровый дух, – и прочь все с земного шара, что вздумает противиться здесь или там нам, германцам! Наша победа в Европе явится прологом нашего победного марша по

всему земному шару. Кто успеет подготовиться к борьбе с нами? Нет таких, и мы не дадим для этого времени тем, кто вздумал бы противодействовать нам.

Каждая наша победа в Европе будет растить и множить наши силы; с каждым новым шагом своим мы будем шире и шире: мы будем богаче, мы будем умнее, приобретая опыт, мы будем поэтому неодолимы.

У нас обдуманно все, чтобы мы не споткнулись на первых своих шагах, а от первых шагов наших зависят все остальные, так как мы должны внушать нашим противникам страх: где страх, там дрожь, и оружие сложено в кучу под белым флагом, а мы пишем в своих оперативных сводках: «Соппротивление сломлено».

Всего только два слова, но после них не о чем больше писать нам, людям, шагающим по дорогам вашим с оружием в руках. После этих двух слов надобно начинать новые оперативные сводки о ходе борьбы на другой территории и с другим противником, если планомерный и предопределенный разгром его можно назвать борьбою.

Эти слова туманили мозг, как дурман...

Казалось бы, нет ничего капризнее и случайнее начала всякой войны, но тот, кто вглядится пристальнее в это начало, не может не сказать: в истории нет никаких событий, которые нельзя было бы обосновать.

III

Казалось бы, что держава, ставшая зачинщицей мировой войны, двуединая монархия Австро-Венгрия и должна бы была в первые же дни войны развить могучее нападение на Сербию, к которому она давно уж готовилась и, наконец, собралась проглотить, однако именно в этом углу Европы, на Дунае и Саве, действия войск протекали слабо: австрийские батареи долбили через Дунай Белград, сербские им отвечали, и только. О вторжении в Сербию армий, приготовленных для этой цели, пока, в первую неделю войны, не было слышно.

Даже и России, которой объявила войну Германия, Австро-Венгрия не объявляла войны.

Произошло то, что опрокинуло сразу все хитроумные переговоры дипломатов: смертельно оскорблена была будто бы Сербией Австро-Венгрия. Ответ Белграда на ультиматум Вены оказался неприемлем будто бы для Австро-Венгрии; развязала войну в Европе будто бы Россия тем, что объявила мобилизацию своих сил в защиту Сербии. А под покровом всех этих конфликтов на востоке Европы семь германских армий – свыше полутора миллиона человек – ринулись на запад, на Францию.

Англия не должна была выступать, это совсем не входило в расчеты Германии, но вдруг она объявила войну Германии и спутала все немецкие карты.

Выслушав от Бетмана за двадцать минут столько упреков, сколько в состоянии тот был подыскать, посол Англии Эдуард Гошен принят был и Вильгельмом, давшим ему прощальную аудиенцию, но император превзошел канцлера, как способен только талантливый артист превзойти бездарность.

Гошен увидел кайзера в английском маршальском мундире с английскими орденами, и не успел он сказать заранее приготовленную для столь исключительного случая фразу, как кайзер начал срывать с себя ордена и с силой швырять их на пол. При этом лицо его было, какое полагается только трагикам на сцене, и, когда последний орден был сорван и отброшен, он сказал Гошену, вернее выкрикнул, а не сказал:

– Доложите своему королю, что вы здесь видели!

Потом повернулся и стремительно вышел из комнаты. Когда же Гошен вернулся в посольство, то тут же следом за ним принесли ему и тот английский мундир, в котором был Вильгельм.

Ордена, сорванные с мундира, были потом по приказанию кайзера проданы так же, как и русские ордена. То же самое сделали с русскими и английскими орденами Мольтке и другие высшие германские офицеры: все-таки это несколько-то увеличивало общегерманские средства, ассигнованные на борьбу с внешними врагами.

На параде в главной квартире Вильгельм сказал войскам речь перед фронтом:

– Нам предстоит не одно сражение, но успех будет сопутствовать нам. В уповании на нашего старого бога мы доберемся до шкуры наших врагов. Мы хотим победить и должны победить!

Перед отправлением воинских поездов из Берлина (Вена тут же переняла это) на всех вагонах наклеивались плакаты с крупными надписями:

Ein Schuss – Russ; ein Stoss – Franzoss!²

И малейшего протеста против действий правительства, начавшего войну, было достаточно, чтобы солдаты или офицеры тут же арестовывались, выводились из вагона и заключались в военную тюрьму: армию очищали от тех, кто пытался мыслить. Армия, как и вся Германия, должна была пылать лютой ненавистью к русским, французам, бельгийцам, англичанам, сербам. «Оставьте врагам только глаза, чтобы они могли оплакивать свою участь», – это древнее изречение, которое любил повторять Бисмарк, повторяли теперь многие и многие в Германии, полностью обратившейся в военный лагерь.

Как верховный главнокомандующий, Вильгельм стремился делить со своей действующей армией труды и лишения боевой жизни, и для него устроили походный разборный дом в две больших комнаты – кабинет и столовая. Пол в этих комнатах был паркетный, мебель дубовая, стол накрывался на двенадцать персон.

Движения и действия войск были строго рассчитаны на каждый день, так как через две недели после начала войны должны были по плану взять Париж. На полуторамиллионную армию в Германии смотрели, как на машину, хотя и довольно сложного устройства, но вполне слаженную, правильно пущенную в работу и во столько-то единиц времени, при обязательном участии старого немецкого бога, обязанную дать столько-то и таких-то ударов, смертельно сокрушительных для врагов.

И когда молодая, всего двадцатидвухлетняя герцогиня Люксембургская вздумала в виду приближающегося авангарда одной из немецких армий выехать к нему навстречу в обыкновенном кабриолете, стать на мосту через пограничную речку и сказать подъехавшему верхом немецкому лейтенанту: «Я не могу пропустить немецкие войска через земли Люксембурга!» – как лейтенант выхватил револьвер, направил его на герцогиню и закричал:

– Прочь с дороги, иначе я застрелю вас!

В этом крике было больше изумления, чем возмущения: немецкий лейтенант был удивлен тем, что услышал от герцогини. Действительно, как было не удивиться: Люксембург – маленькое, игрушечное государство, не имеющее даже армии, – не желает пропускать через свою территорию всемогущее германское войско!..

В тот же день герцогиня была отправлена в один из немецких замков на Рейне.

IV

Молодой немецкий лейтенант все-таки мог бы обойтись вежливее с молодой и наивной герцогиней, но он проявил ту самую «тевтонскую ярость», которую германский генеральный штаб считал нужным включить в вооружение армии.

² На каждую пулю – по русскому; на каждый удар штыка – по французам! (нем.)

Для того, чтобы победить врагов на западе и востоке в кратчайший срок, мало было воздействовать на них силой оружия на полях сражений, надо было еще и внушить им ужас, – так думали немцы.

Глаза живших в XX веке Вильгельма II и его генералов были обращены в седую древность. Как будто чарами волшебства вызывал генерал Шлиффен тень Аннибала и беседовал с нею, когда писал свою знаменитую книгу «Канны» и составлял планы военных действий против Франции.

Умерший незадолго до войны Шлиффен писал в последнем из этих планов: «Необходимо обязательно стремиться ударом в левый фланг французов оттеснить их в восточном направлении на их крепости на реке Мозель, за горный хребет Юры, к границе Швейцарии, где французская армия должна быть окончательно уничтожена. Самое существенное условие для достижения германцами такого результата операций заключается в образовании сильного правого крыла, посредством которого германцы должны наносить французам удары и непрерывным преследованием (тем же мощным крылом) все время их добивать».

Необыкновенно просто и в высшей степени ясно. Это писал высший военный авторитет Германии. Его возраст в то время был близок к восьмидесяти годам. Он был настолько одержим этим «правым крылом», что повторял его и на смертном одре: «Только как можно сильнее крепите правое крыло...» и умер. Тень Аннибала несомненно спешила ему навстречу – ведь она нависла тогда над целой Германией.

Всех зачаровала победа Аннибала при Каннах, но все постарались в то же время забыть, чем кончился поход Аннибала на Рим. Хотя бы вспомнили, как Руссо изображал донесения Аннибала в Карфаген: «Я наголову разбил римлян – пришлите мне еще войска; и наложил на Италию большую контрибуцию – пришлите мне денег!»

Седая древность внушила немцам XX века «тевтонскую ярость»; не зря в бесчисленных газетных статьях перед войною вспоминали они своих предков тевтонов, ходивших в шкурах убитых ими зверей и сражавшихся с римскими полководцами Марием, Суллой еще до Юлия Цезаря.

Однако и завоеватели азиаты, как Чингис-хан, Батый, Тамерлан, с их пирамидами из человеческих черепов, тоже воскрешались в памяти немецких пивоваров и торговцев готовыми платьями. Всех немцев необходимо было заразить хладнокровной обдуманной жестокостью.

Стоило только Бельгии, обладавшей всего лишь немногим больше чем сотнею тысяч плохо обученного войска, выступить на свою защиту, как на нее обрушилась «тевтонская ярость»: уничтожен был мирный старинный культурный город Лувен, стерт с лица земли многие деревни, лежавшие на пути германских корпусов, поголовно перебиты или сожжены в горевших домах их жители.

Сильнейшая бельгийская крепость Антверпен находилась на берегу моря, вдали от спешивших к французской границе немецких армий. Но на пути их досадно торчали две небольшие крепости – Льеж и Намюр. Их обходили главные силы, но все-таки необходимо было взять их, чтобы не оставить у себя в тылу.

Их предполагали взять за день, за два, но осада Льежа, неожиданно для Вильгельма и его начальника штаба генерала Мольтке – племянника бывшего победителя французов, – затянулась: бельгийцы оборонялись упорно, приковав к своим фортам несколько германских дивизий.

Когда Англия объявила себя в состоянии войны с Германией, Вильгельм надеялся, что, верные известной медлительности своих действий, английские войска если и появятся на континенте Европы, то не раньше как в самом конце трагедии Франции, как говорится, «к шапочному разбору», появятся, чтобы снова сесть на суда и плыть на свои острова. Однако, совер-

шенно неожиданно для себя, он узнал вдруг, что англичане начали высадку, когда не были еще взяты ни Льеж, ни Намюр.

Пусть высаживались пока незначительные силы, но ничто ведь не могло помешать вслед за первым корпусом высадить второй, третий, четвертый... А потом, разумеется, целая английская армия постарается ударить в тыл заходящему правому крылу немцев, соединившись с гарнизоном Антверпена.

С первых же дней война пошла несколько иначе, чем она рисовалась германскому генеральному штабу, не говоря уже о том, что предмет особых забот и попечений Вильгельма, его детище – флот оказался запертым англичанами, которые появились около всех выходов из Балтийского моря.

Только несколько крейсеров, застигнутых войною весьма далеко от германских берегов, могли принести какой-нибудь вред Англии, нападая на ее торговые суда, но они не в состоянии были, конечно, защитить обширные колонии немцев в Африке, Азии... Наконец, долго ли суждено было им, этим небольшим по тоннажу крейсерам, оставаться неуловимыми для мощных судов английского флота?

V

Досужие чины генеральных штабов Европы высчитали, что площадь сражений в Маньчжурии во время русско-японской войны была в десять раз больше площади сражений франко-прусской и в шестьдесят пять раз превосходила площадь сражений эпохи Наполеона. Так что, если бы, например, вместо маньчжурских равнин представить столовую в большом доме, то обеденного стола хватило бы для Мольтке-старшего, подоконника – для Наполеона, а такой великий воин древнего Рима, как Юлий Цезарь, вполне уместился бы на чайном блюде.

Но вот ареной войны с первых же дней августа 1914 года стала почти вся континентальная Европа, по которой развертывались и двигались миллионные армии сильнейших государств, и воображение даже тех людей, которые всю свою жизнь посвятили изучению истории войн, отказывалось представить это во всей полноте.

Роль защитника Франции от нашествия тевтонов вручена была генералу Жоффру, человеку несколько старше шестидесяти лет, довольно высокого для француза роста, плотному, седоусому, прекрасного здоровья, большой энергии, не приверженного к спиртным напиткам и с безупречным послушным списком.

Унаследовав от своих предшественников по должности шестнадцать планов войны с Германией, Жоффр составил семнадцатый, причем самых важных мыслей своих все-таки не решился доверить бумаге.

Эти мысли обнаружили в первые дни войны. Они сводились к тому, что Жоффр не на левом фланге своем собрал наибольшие силы, а на правом, будучи твердо убежден в том, что немцы начнут военные действия только с двадцатью пятью корпусами своих войск, часть которых оставят к тому же для защиты Восточной Пруссии от русских.

Он представлял себе, что армия германцев в шестьсот приблизительно тысяч человек в достаточной степени распылится, пока дойдет до северных границ Франции, и может быть прорвана французами без особых усилий, а в это время, опираясь на крепости Бельфор, Туль, Эпиналь, Верден, Нанси, правый фланг французов обрушится на левый немцев, сомнет его, разгромит и отбросит.

Он не предвидел того, что в первый же день войны в германскую армию будут влиты еще двадцать пять резервных корпусов, что сразу удвоит ее силы. Война уже в самом начале своем значительно перерастала те масштабы, с которыми он свыкся в своем представлении за долгие годы подготовки к войне, а ведь именно ему, Жоффру, Франция доверила свою оборону.

Он ставил себе в заслугу, что неослабно нажимал на Россию, как на союзницу Франции. Перед войною, за год до нее, он приезжал в Россию на маневры, обменявшись визитом с великим князем Николаем Николаевичем, в котором обе союзные державы видели будущего главноверха русских войск. Однако, несмотря на высокое положение царского дяди, Жоффр и дома и в гостях держался с ним, как может держаться только старший в отношении младшего, опекун к подопечному.

Что представляют собою русские войска? Чем и как могут они помочь Франции в ее борьбе с Германией? Куда и сколько именно корпусов они должны двинуть, чуть начнется война?.. Только эти вопросы занимали Жоффра, как и весь генеральный штаб французской армии, как и правительство Франции.

Жоффр настойчиво силился внушить и будущему главноверху русских войск, и военному министру Сухомлинову, и другим русским генералам, что Австро-Венгрия – противник совершенно ничтожный, что Сербия вполне может обойтись без сильной помощи России в первые недели войны, что самый мощный кулак свой Россия, без малейшего промедления, должна обрушить на Восточную Пруссию, откуда прямой путь на Берлин.

При этом Россия ни в коем случае не должна была дожидаться конца мобилизации своих сил: жалкие пути сообщения при огромных пространствах неизбежно должны были затянуть это дело. Все, что будет иметься под руками на западной границе, должно быть брошено Россией, по мысли Жоффра, исключительно против немцев, притом не позже как через две недели после начала войны.

Генерал Дюбайль выговорил для этой цели пять русских корпусов, Жоффру удалось довести до восьми пехотных при большом количестве кавалерии и других вспомогательных войск – таким образом, составлялись уже две сильных армии.

Жоффр вел себя в России как представитель страны займодавца в стране должника: ведь двадцать миллиардов франков получило русское правительство от французских банкиров на постройку стратегических железных дорог и другие военные нужды. Поэтому вопрос о том, насколько провозоспособны дороги, ведущие к границе с Германией, и насколько боеспособны войска Варшавского и Виленского военных округов, изучался особенно тщательно Жоффром и его штабом.

Когда ему пытались представить австро-венгерскую армию в два миллиона штыков и сабель, как крупную все-таки силу, он снисходительно отзывался на это с великолепно сделанным презрением в голосе:

– Мой бог, какая же это сила? Стоит только нам совместно в кратчайший срок сломить Германию, Австрия тут же подпишет мир!

Даже когда началась война, Жоффр не сразу понял, что он жестоко ошибся, предполагая, что у немцев не хватит сил вести наступление через северные, а не через южные границы Франции, которые были защищены и людьми и природой.

Нужно было время, чтобы убедиться в этом, но кто же мог дать это время за дешевую цену, когда каждый день мог быть днем крупнейших и роковых для Бельгии и Франции событий?

Форты Льежа еще оборонялись, пусть даже только часть их, и гарнизон отвечал отказом на предложение о сдаче, а громадные валы немецких войск катились уже к северной Франции неотвратимо, так как французские армии не успели стянуться навстречу им в том числе, какое оказалось нужным, бельгийские же дивизии король Альберт уводил к Антверпену от своей столицы.

Дать бой при явно неравных силах было бы безумием. Войска французов отступали поспешно, оставляя город за городом. Миллионы беженцев запрудили все дороги. Лошади, мулы, ослики, велосипеды, ручные тележки – все это стремилось куда-то с возможной быстротой, лишь бы уйти от того, что хлынуло, как стихия.

Ожидалось, но никому не казалось настолько грозным; ожидалось, но никому не представлялось так близким; ожидалось, но втайне каждым про себя, о чем никому не хотелось говорить вслух, а это значит не ожидалось никем.

Ведь начиная войну наступлением на Эльзас-Лотарингию, Жоффри сулил именно победу; ведь решительное сражение должно было разыграться где же еще, если не в Бельгии? Однако рушились все расчеты и все надежды.

Горный хребет Вогезы стоял одинаково на страже Эльзаса и Лотарингии, с одной стороны, и восточной Франции – с другой. Против правофланговых 1-й и 2-й французских армий расположены были 6-я и 7-я левофланговые немецкие армии под общим командованием баварского кронпринца Рупрехта. И в то время как Жоффри задумал нанести сокрушительный удар немецким армиям, Рупрехт в одном из первых своих приказов потребовал от подчиненных «отбросить даже тень гуманности в отношении к французам и расправляться с ними с беспощадной жестокостью».

Зверь бежал на ловца. Против замыслов столь тайных, что их боялись доверить бумаге, подымалась открытая широкозубая «тевтонская ярость». И против той части своего фронта, которую Жоффри вполне основательно считал наиболее сильной, он увидел немецкие армии, почти не уступавшие французским по числу штыков и превосходившие их по числу и мощи орудий.

VI

В последнем письме своем царю Николаю кайзер почти требовал, чтобы русские войска не переходили германской границы.

Он чувствовал тогда большой подъем сил. Объявленная им за два дня до того мобилизация германской армии прошла безукоризненно. В своем союзнике Франце-Иосифе, в его преданности германским интересам он был вполне уверен. До него дошли слова престарелого монарха: «Лучше быть часовым у дворца императора Вильгельма, чем допустить самостоятельную и свободную Сербию».

К России у Вильгельма было такое же презрительное отношение, как и к «другу» своему Николаю, и он, верховный главнокомандующий германских войск, приказал в первый же день войны перейти русскую границу в Калишской губернии и занять Калиш.

Уже 19 июля немецкий разезд вечером появился в окрестностях Калиша и спрашивал в деревнях:

– Есть ли в городе казаки?

Ответы он получал однообразные: в городе не было ни казаков, ни каких-либо вообще русских войск. И на другой же день, рано утром в Калиш вошли два батальона немецкой пехоты.

Жители Калиша не успели еще узнать, что Германия объявила войну России, в Калише не было никакого гарнизона, но именно в нем впервые начали свой внятный разговор немецкие пушки в ту войну.

В кого стреляли немецкие батареи? – Просто в город. Зачем стреляли? – Чтобы привести жителей в трепет и к покорности.

Распорядился пальбой по безоружным калишанам майор Прейскер, командир отряда.

Хотя и считавшийся губернским, Калиш был небольшой город, однако Прейскер наложил на него большую контрибуцию. Городской голова Буковинский не успел собрать ее к сроку и за это был тяжко избит. Он валялся на улице, и первый, кто подошел к нему из калишан, чтобы ему помочь, был тут же расстрелян.

Прейскер думал найти много денег в казначействе, и там действительно было несколько сот тысяч рублей, но казначей Соколов успел сжечь их, чтобы они не попали немцам. За это Соколов и три чиновника, ему помогавшие, были расстреляны у дверей казначейства.

Жителям Калиша приказано было выставлять с вечера на окна зажженные лампы и не тушить их всю ночь. Несколько десятков расстрелянных валялось на улицах, но трупы их не разрешалось убирать – за это угрожали смертью.

Калиш горел, подоженный немцами с разных сторон. Пьяные солдаты заходили во все дома и грабили жителей.

Началось бегство из города. Бежали куда попало, лишь бы уйти от немцев, которые не только вселялись в дома, но и требовали, чтобы их кормили. Мясников города немецкий комендант обязал доставлять ежедневно в штаб отряда пятьдесят пудов ветчины, обещая им расстрел, если они хоть один день не внесут полностью этой дани.

Кофе, сахар, чай из магазинов вывозили на подводах: это шло на довольствие отряда. Однако и магазины с готовым платьем, обувью, посудой и прочим также ревностно опустошались солдатами, которые убивали при этом тех, кто хотя бы удивлялся вслух, видя это. Убивали и тех, кто пытался тушить пожары. Смерть глядела на каждого из каждой солдатской винтовки.

Десятка два наиболее видных жителей города вместе с избитым Буковинским были отправлены в Германию. Город сгорел. Майор Прейскер был награжден Вильгельмом за то, что он показал в этом пограничном уголке России, что представляет собою «тевтонская ярость».

Прейскер сумел придать разгрому Калиша характер возмездия за выстрел из револьвера в группу немецких солдат. Этот выстрел из окна второго этажа на лучшей улице города был выстрелом одного из лейтенантов его же отряда, но он был необходим, чтобы искать и не найти виновного и в наказание за «вооруженное сопротивление» жителей уничтожить город.

От этого выстрела вышел из строя один немецкий солдат – померанский гренадер, а ведь еще Бисмарк любил повторять, что «весь восточный вопрос не стоит костей одного померанского гренадера». Тут же были далеко не Балканы, не Константинополь, а всего только какой-то Калиш. Надо же было поведать России, надо было поведать всему миру, как высоко ценит своих солдат Германия и ее кайзер.

То же самое, что в Калише, произошло и в другом недалеком от него пограничном городке Ченстохове, и во Влоцлавске, и в Радоме, где действовали другие прейскары.

Нужно было Вильгельму и его генералам показать России, какого противника она имеет. Нужно было произвести сильнейшее впечатление с первых же шагов, показать, с какой жестокостью будет вестись война; показать и испугать.

Выбор для нападения таких городов, как Калиш, Ченстохов, Радом, был предугадан тем, что в этой части русской Польши пока еще не было русских войск. Иными из руководителей русского генерального штаба отстаивался даже такой взгляд, что левобережье Вислы, как далеко выдавшееся на запад, защищать нельзя, что его лучше всего совершенно очистить в самом начале войны, чтобы избежать окружения войск и их неминуемого разгрома.

Линия крепостей русских проходила по Висле, далеко от границы. Притом крепости эти, основанные еще в семидесятых годах, явно устарели; однако вместо того, чтобы их привести в порядок, осовременить, исподволь проводилось мнение, что они бесполезны, ненужны, что инженерную подготовку обороны здесь надо начать совершенно наново.

Правы или нет были стратеги из генерального штаба, задумав отвести линию обороны против Германии на восток от Вислы, но они года за четыре до войны успели разрушить все, что было сделано раньше, и не успели создать почти ничего взамен. Во всяком случае это было очень выгодно для немцев, укрепивших тем временем Восточную Пруссию так, чтобы сделать ее совершенно недоступной для русских войск.

Между тем русские войска развертывались не для обороны, а для наступления, только развертывались не на Висле, а гораздо глубже в тылу: огромные пространства России, в кото-

рых тонула жиденькая сеть ее железных дорог, играли на руку немцам. А пока собирались русские войска, немцы стремились показать поярче, с каким противником им приходится иметь дело.

VII

Легко и просто было австрийцам начать бомбардировку Белграда, лежащего при впадении Савы в Дунай: и Дунай и Сава были пограничные реки, а дальнобойные австрийские батареи задолго до убийства в Сараеве были нацелены на столицу Сербии.

Однако прошел почти целый месяц, пока пехотные австрийские корпуса получили, наконец, приказ вторгнуться в Сербию: не до Сербии было, когда, по берлинскому плану войны, надобно было выдвинуть значительно большую часть своих сил против России, причем с лихорадочной быстротою.

Сначала наступление из Галиции в глубь России, потом уже расправа с Сербией, которая может и несколько запоздать: пусть трепещет жертва, обреченная на неминуемый разгром.

Только 12 августа вступили австрийцы в Сербию, истощенную продолжительной войной на Балканах. Зная о том, что бомбардировка Белграда почти наполовину уничтожила этот большой город и что сербы решили уже его не защищать, австрийские офицеры шли как на военную прогулку, заранее, впрочем, ругая заведомо отвратительные дороги «свинопасов сербов».

Гористая страна Сербия действительно не могла похвастать дорогами, но на этом бездорожье ее генеральный штаб строил будущие успехи защиты: еж мал, но колюч и «на что жука вохра, а не съест ерша с хвоста».

Как бы ни была истощена небольшая Сербия той войной на Балканах, которую вела перед нападением австрийцев, она все же вышла из нее победоносной, расширилась: кроме Старой Сербии, в ней появилась Новая; она приобрела опыт войны, какого пока еще не было у ее новых врагов; сознание, что если она не отразит нападение, то погибнет, удваивало ее силы, а помощь, обещанная Россией, утраивала их.

Внутри страны, в городе Крагуеваце, находился арсенал сербов, и, разумеется, сюда должны были ринуться австрийские силы по долине реки Моравы, захватив предварительно Белград. Этот замысел можно было угадать еще задолго до войны по тому важному признаку, что австрийские железные дороги совершенно излишне для мирных целей сгущались к северу от Белграда. Теперь настало для них время работать на новую мощность.

Если Берлин пропускал со своих вокзалов по полторы тысячи поездов в сутки, то безостановочно поезд за поездом гнала на Сербию и Вена.

Пусть большая часть огромной австрийской армии направлялась против России – те корпуса, какие предназначались для захвата Сербии, считались вполне достаточными для «ничтожного противника».

Как в Бельгии во главе войск стал король Альберт, так и в Сербии верховным главнокомандующим сделался принц-регент Александр, а воевода Путник, едва не задержанный в Вене после объявления ультиматума, остался начальником штаба вооруженных сил, разделенных на четыре небольшие армии.

Суметь защитить себя, пока европейская война решится на других, гораздо более значительных фронтах, – такие цели ставила себе Сербия, а когда австрийские полчища вторглись в страну с севера по фронту в полтораста с лишком километров, сербы расположили свои войска на горном хребте – естественной крепости над долиной реки Ядара.

В половине августа начались яростные атаки австрийцев; однако на третий день они сменились уже контратаками сербов, а 24 августа враги были выброшены из пределов Сербии, потеряв 50 тысяч пленными и много артиллерии, винтовок, боеприпасов.

То, что предполагалось само собою, то, из-за чего как будто началась мировая война, совершенно не удалось: «цареубийцы» наказаны не были, но, разумеется, только потому, что дело было совсем не в них и не в «цареубийстве».

Глава вторая

Сестры

I

Две студентки Бестужевских высших женских курсов в Петербурге: одна второкурсница, другая – только что зачисленная на первый, – сестры Невредимовы, Надя и Нюра, устроившись в комнате своего старшего брата Николая, инженера-технолога, взятого в армию в чине прапорщика запаса, находились в высоком подъеме чувств.

Для младшей из них, Нюры, это огромное событие – война – расцветилось еще и тем, что она впервые попала в великолепную столицу России из чистенького и весьма уютного, но простенького Симферополя.

Там все улицы и даже все постройки на улицах и все деревья в садах были ей известны с детства, а здесь все было необычайно, исключительно по красоте, ошеломляюще, особенно в белые, хотя и убывающие уже теперь, ночи, когда хоть и нужно было идти спать, но никак невозможно было поверить, что продолжающийся день почему-то считался ночью, и нельзя было заставить себя уйти с улицы домой.

Но между тем именно здесь, в этом сказочном городе, как будто на каждом доме сияла яркая надпись: «Война!» – и большую половину густых уличных толп составляли военные всех рангов, от рядовых солдат до престарелых генералов, старавшихся держаться ровно, шагать бодро и глядеть браво.

Надя Невредимова, бывшая всего на год старше сестры, только что окончившей гимназию, не только не старалась ввести жизнь Нюры в какие-нибудь определенные рамки, но и сама не видела никаких таких рамок.

Для нее еще сложнее, чем для сестры, развернулась вдруг жизнь: с нее известный художник Сыромолотов, живший в Симферополе, сделал этюд для своей картины «Демонстрация». То, что она, с красным флагом в руках, будет на этой картине идти впереди большой толпы, несмотря на наряд полиции и войск, переполняло ее гордостью, ей еще незнакомой, и этого нового чувства не могла заслонить даже начавшаяся война.

Она не в состоянии была ни одного часа оставаться одна, что-нибудь читать про себя, над чем-нибудь думать в тиши... Ей нужна была улица, как воздух, необходимы были люди, люди, потоки, реки людей... Это было состояние войны вдаль от войны. И даже больше того – совершенно бессознательно, но упрямо она старалась разглядеть в толпе не кого-либо другого, а только тех, кто предназначен вести в бой полки: генералов, полковников, – не ниже чином. Молодые офицеры совсем не привлекали ее внимания.

– Ты знаешь, Нюра, о ком я думаю? – сказала она как-то на ходу сестре: – О Жанне д'Арк... Во всей истории, какую мы с тобой учили в гимназии, она была для меня самой непостижимой!

Часа через два она уже забыла, что говорила это Нюре, и повторила свой вопрос и свой ответ, но в этот раз добавила еще несколько слов и о Софье Перовской.

От беготни в толпе из-под шляпок у них выбились тяжелые, небрежно подколотые русые косы, более светлые у Нюры. Они по нескольку раз во дню останавливались у киосков пить воду или заходили в кондитерские есть мороженое и сладкие плюшки. Об обедах они забывали.

Надя водила сестру в Эрмитаж, в музей Александра III, по-хозяйски внушая ей почтение к картинам старых и новых мастеров, и Нюра была ей податлива в этом: ей самой хотелось только одного – восхищаться, притом как можно дольше сохранить в себе восхищение.

Она останавливалась, впрочем, и перед пышными витринами всевозможных ателье, но в этом не препятствовала ей Надя: она не была пуританкой – красивые платья, костюмы, выставленные за огромными толстыми стеклами, привлекали и ее.

Надя не раз говорила в таких случаях торжествующим тоном: «Вот видишь?» – и это значило (сестра ее понимала): «Видишь, какая у нас красота везде и во всем: и в картинных галереях, и в театрах, и на улицах, и на площадях, и в витринах магазинов мод – какое богатство, какое многолюдье, какая сила, – и вот глупые немцы начали с нами войну, надеясь нас победить! Ну не абсурд ли это?»

И Нюра отзывалась Наде односложно: «Вижу!» – что означало: «Победить нас? Ну, конечно, полнейший абсурд!»

Однако если нас нельзя победить, то есть победим немцев мы, то как же тогда революция? Возможны ли будут тогда демонстрации вообще и та, в частности, «Демонстрация», в которой во главе многочисленной толпы идет – должна идти – она, Надя Невредимова, с красным флагом?

Бегучие мысли Нади ни за что не хотели отказаться от победы, но в то же время пусть сказал бы ей кто-нибудь, что при этом условии революция в России немыслима!.. Даже и Нюре, которая была так без остатка вся поглощена Петербургом и войной, что не противоречила сестре, Надя не раз принималась объяснять, что это решительно не воспрепятствует революции – победа... Что от победы именно и оттолкнется всенародный революционный порыв... Что победа даст прежде всего основу всем и надежду к тому, чтобы себя уважать, а кто себя уважает, тот заставит и других отнестись к себе с уважением... Так думалось Наде.

– Ты пойми, – горячо говорила она Нюре. – Вот идет к Зимнему дворцу, вот к этому самому дворцу, перед каким ты стоишь, идет, как это было в девятьсот пятом году, девятого января, победивший народ, притом на другой же день после победы, – кто посмеет в него стрелять?.. Стрелять? А разве он сам не научился стрелять на фронте?.. Без оружия он будет? А почему же именно без оружия? Разве в девятьсот пятом году осенью в Москве, в декабре народ не стрелял? Отлично стрелял! И это потому, что тогда только что окончилась война, среди народа много было солдат... Было бы из чего стрелять, а разве нельзя после войны достать оружие? Сколько угодно, я думаю!.. Конечно, полиция будет требовать, чтобы все сдавали оружие, а его все равно очень многие будут прятать... По-ду-маешь, приказывать будет мне какая-нибудь полицейская крыса, когда у меня, например, два Георгия на груди! Скажут такие: «Кто из вас кровь проливал – ты, фараон, или я?..» Ого! Тогда с ними будут разговаривать совсем иначе... Тогда чувство собственного достоинства у каждого будет – даже у тех, кто не воевал, тоже... Это тебе, скажут, фараон ты этакий, не девятьсот пятый год, а девятьсот... пятнадцатый!

Перед тем, как сказать «пятнадцатый», Надя несколько запнулась, но это слово прозвучало у нее твердо: несколько раз уже и от самых разнородных людей пришлось ей слышать здесь, в Петербурге, что война протянется не больше чем полгода, а было только начало августа по старому стилю, война еще не успела развернуться как следует, но, разумеется, когда развернется, то уж пойдет полным ходом, сражение за сражением, пока со стороны немцев не покажется автомобиль с белым флагом, а в нем парламентареры, офицеры генерального германского штаба... – так это представлялось Наде.

Адмиралтейство с его знаменитой «иглой», воспетой Пушкиным, «Медный всадник» на каменной глыбе и особенно Зимний дворец часто привлекали внимание сестер, тем более что жили они не так далеко отсюда.

Надя не забывала, что на картине художника Сыромолотова будет симферопольская, а не петербургская улица, однако представляла она себя впереди толпы почему-то не в родном городе, а здесь, потому что в воображении ее вставала не какая-то вообще демонстрация, а именно та, всем известная и памятная, 9 января, направлявшаяся к Зимнему дворцу... Демон-

страции в других городах – будь это Симферополь или Орел, Житомир или Рязань, – к чему же они могли бы привести? Только к столкновению с каким-то приставом, красноносым захоластным пьяницей, взяточником и покровителем воров. То ли дело демонстрация здесь, в столице! Здесь не пристава, а министры, не губернатор, а царь... Вот в такой демонстрации получить честь идти впереди с красным флагом!.. Для этого момента стоит жить!

Но, лихорадочно думая именно так, Надя пристально, как мог бы только сам Сыромолов, наблюдала на улицах все, что только, по ее мнению, могло бы войти в ту «Демонстрацию». Как-то независимо от царившего в столице военного колорита она жила картиной, затеявшейся в очень далеком Симферополе, и потому останавливалась то перед верховыми лошадьми (ведь их должно было быть полдюжины на картине), то перед полицейскими, дежурившими на подступах к Зимнему дворцу, щегольски одетыми, во всеоружии и в белых перчатках; то перед тем или иным, случайно встретившимся лицом в толпе, которое ей хотелось бы видеть на картине...

Один пристав даже прикрикнул на нее, когда она вздумала, остановившись, его разглядывать в упор: должно быть, он принял ее любопытство за что-то совершенно другое.

II

Зимний дворец... Нельзя сказать, чтобы очень красивое, но во всяком случае огромное здание, сложной архитектуры, несокрушимо прочное на вид. А чугунная ограда этого дворца безусловно красива, – так казалось и Наде, и Нюре, когда они проходили около дворца. Даже бесконечное повторение одного и того же узора между каменными столбами ограды каждой из них представлялось необходимым для того, чтобы усиливать и усиливать впечатление.

В столице огромнейшей страны, в городе, в котором так много величественных, прекрасных, вековечно-прочных зданий, стоит царский дворец. Разумеется, он должен быть самым величественным, прекрасным и прочным из всех зданий столицы, – таковы были требования к нему со стороны двух юных провинциалок, и одна другую пыталась убедить, что это так именно и есть, хотя все же, чтобы проверить это, надо бы было побывать еще и внутри дворца и пройтись по всем его залам.

Наде и Нюре, конечно, нечего было и думать о подобном осмотре дворца, но однажды издали они увидели, как у входа во дворец толпилось много людей, одетых в штатское платье, и их пропускала внутрь дворцовая полиция, проверявшая их документы.

Это было 26 июля по русскому стилю, когда Австро-Венгрия спохватилась, что не удосужилась еще объявить войну России, и император Франц-Иосиф выпустил манифест о войне, а Николай II ответил на этот манифест своим манифестом, который он решил объявить прежде всего лишь избранным им членам Государственного совета и Государственной думы.

Война уже шла на границах Австро-Венгрии и России без манифеста так же, как если бы и с манифестом – манифест о войне мог даже и не объявляться представителям высших государственных учреждений в присутствии самого царя и в царском дворце, но признано было необходимым подчеркнуть таким приемом, что начавшаяся война является серьезнейшим общегосударственным делом.

На языке безукоризненно официальном то, что должно было произойти в этот день в Зимнем дворце и для чего должен был прибыть сюда царь из своего загородного дворца, называлось «единением царя с избранниками народа». Для этого единения предназначен был не самый большой зал – в тысячу сто квадратных метров, а другой, значительно меньший, так как приглашенных было не очень много. Обстоятельства же на фронтах складывались так, что уже теперь, на восьмой день войны с Германией и на первый – открытой войны с Австрией, заставляли задуматься.

Когда канцлер Германии Бетман-Гольвег в последнем своем разговоре с английским послом Гошеном сказал раздраженно:

– Зачем все время толкуете вы мне о договоре Бельгии с Англией? Ведь этот договор всего-навсего только клочок бумаги?

Гошен ответил спокойно:

– Пусть по-вашему это будет только клочок бумаги, но на этом клочке имеется подпись: Англия.

Связанное договором с Францией, царское правительство напрягало теперь усилия, чтобы выполнить его и не позже как на пятнадцатый день войны двинуть свои войска в Восточную Пруссию, чтобы отвлечь на себя часть немецких войск, двигавшихся к Парижу.

Время не ждало, дни были на счету. Войска Виленского и Варшавского военных округов не успели еще отмобилизоваться как следует и едва ли могли успеть это сделать за оставшуюся неделю до предусмотренного договором вторжения в Пруссию, – что было известно царю, но ведь на договоре с Францией, на «клочке бумаги», стояла подпись: Россия.

Царский манифест о войне с Австро-Венгрией указывал членам Государственного совета и Думы на то, что отныне усилия русских войск неминуемо будут двояться, так как австрийцы, несомненно под давлением из Берлина, проявят большую активность, чтобы в свою очередь отвлечь внимание русской ставки от Пруссии.

Об этом, конечно, не говорилось в манифесте, это нужно было читать между строк. Манифест был составлен по тому образцу, который вошел в обиход русской политической жизни еще во времена Александра I, и кончался он всем уже известными по другим подобным манифестам словами: «И да поднимется вся Россия на ратный подвиг с железом в руке, с крестом в сердце!»

Манифест этот читал, конечно, не царь; новизна была в том, что царь выступил с речью. Его речь состояла, впрочем, тоже из общих мест, почему он нисколько и не казался растроганным, когда произносил ее ровным, несколько напряженным голосом, чтобы слышно было даже и старичкам в раззолоченных мундирах и с бесконечным количеством орденов и бриллиантовых звезд.

И старички из Государственного совета, приложив ладони к заросшим ушам, отмечали каждый про себя, что речь царя коснулась между прочим и славян.

– Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пределах земли своей, – говорил царь, – но боремся за единокровных и единоверных братьев славян, и в нынешнюю минуту я с радостью вижу, что объединение славян происходит также крепко и неразрывно со всей Россией...

«Объединение славян с Россией» – в этом ничего нового не было ни для кого в дворцовом зале: «за славян» велись войны еще при Николае I, «за славян» велась тяжелая война при Александре II, и теперь, раз из царских уст раздался призыв к борьбе «за славян», то войну должен приветствовать русский народ и все трудности такой войны переносить бодро.

Ни малейшего волнения в голосе царственного оратора не замечали и члены Государственной думы, – ни в голосе, ни в мелких, незначительных чертах его лица. Поставивший и свою империю и свою династию под роковой для них удар, царь имел спокойный вид вполне усвоившего царственное величие человека даже и тогда, когда заканчивал свою небольшую речь словами:

– Уверен, что вы все, каждый на своем месте, поможете мне перенести ниспосланное мне испытание, и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик бог земли русской!

Разумеется, если кузен и друг его Вильгельм II очень часто в своих речах обращался к «старому германскому богу», то ему, русскому императору, что же и оставалось еще, как не вспомнить в такой важный момент «русского бога»!

На этом «единении царя с народом» в Зимнем дворце присутствовал вместе с другими министрами и министр иностранных дел, зять Столыпина, Сазонов.

Так как через него шли переговоры (после убийства в Сараеве) с Австрией и Германией, то на него и возложено было ознакомить всех членов Государственной думы с ходом этих переговоров, что он и сделал в тот же день, только в другом уже месте – в Таврическом дворце, на заседании Думы.

Подробно рассказав о том, как шли переговоры, и показав воочию, как не могли они привести ни к чему иному, кроме объявления войны сначала Германией, потом, вот теперь, Австрией, вызвав последовательно Думу на овации в честь представителей Бельгии, Франции и Англии, Сазонов, не в пример своему государю, завершил свою речь большой тревогой за судьбу России.

– Со смиренным упованием на помощь божию, – высоко поднял он свой теноровый голос, – с непоколебимой верой в Россию, с горячим доверием к вам, народным избранникам, обращается правительство, убежденное, что в вашем лице отражается образ нашей великой родины, над которой...

Тут голос его изменил ему; переговоры, длившиеся целый месяц, сделали его очень нервным, отдохнуть после них не удалось – началась война; воспоминание о них, притом публичное, ответственное в каждом слове, его развинуло, и он закончил придушенно:

– Над которой да не посмеются враги наши!..

И сошел с трибуны с лицом мокрым от слез.

III

Никогда до войны не читавшие газет, Надя и Нюра Невредимовы теперь неизменно каждый день покупали у мальчишек газетчиков то ту, то другую и узнавали в них, что повсеместно открывались курсы сестер милосердия и не могли вместить желающих попасть в них и что заранее открывались лазареты на огромное число раненых.

– Запишемся, Надя, и мы, а? – несколько раз обращалась к сестре Нюра, но Надя, борясь в себе самой с желанием сделать то же самое, что делают все, неизменно все же отвечала:

– Пока подождем.

– А чего же нам ждать? – не понимала Нюра.

– Как это чего? А где Ксения? Может быть, ее уже убили немцы! – объясняла ей Надя.

И хотя из такого объяснения трудно было что-нибудь понять, но Нюра все-таки переставала после этого докучать Наде.

Ксения, старшая их сестра, учительница, уехала на каникулах за границу с экскурсией учителей и не возвращалась, о ней давно уже не было известий, а газеты были полны описаниями преследований, которым подвергались русские экскурсанты и больные на германских и австрийских курортах. Жену профессора Туган-Барановского, тяжело больную, выбросили в Австрию из лечебницы на улицу, и она умерла...

А между тем в России, в Петербурге, когда градоначальство захотело конфисковать под лазарет огромную, на шестьсот номеров, гостиницу «Астория», принадлежавшую компании немецких капиталистов, управляющий «Асторией» немец Отто Мейер заявил, что гостиница эта уже успела переменить владельцев, и теперь хозяевами ее являются французы.

Весьма бурно негодовали сестры, когда читали об этом в газетах.

Так как чехи, жившие в России, стали поспешно принимать русское подданство, то и многие немцы начали выдавать себя за чехов, и полиции пришлось назначить экзамен по чешскому языку для тех, кто не желал быть высланным на Урал.

Чешский комитет опубликовал в газетах такое воззвание:

«Чехи! Неудержимо надвигающиеся на Европу события свидетельствуют о том, что все идет к решительному столкновению двух рас – славянской и немецкой. Чехи, которые клали в XV и XVII веках свое существование за победу славянства, положат существование свое на алтарь отечества. Чехи останутся верными голосу своей крови!»

В своем комитете, впрочем, чехи занимались скромным сбором денег для будущих раненых и открыли мастерскую, в которой шилось для них белье. «Существование» же свое зарубежные чехи поневоле клали «на алтарь отечества», которое входило в состав Австро-Венгерской империи.

Однажды попало сестрам в газете, что известный фабрикант Савва Морозов пожертвовал на союзы земств и городов и на нужды Красного Креста полмиллиона рублей и что то же самое сделал другой богач – Зубалов.

По этому поводу Нюра торжественно сказала:

– Ого! Вот молодцы!

А Надя процедила:

– Поскупились... Могли бы и по целому миллиону!

– Тебе все мало! – укоризненно заметила на это Нюра.

– А сколько они на войне наживут? – запальчиво отозвалась Надя. – Гораздо побольше, чем миллион!

– Неужели? – удивилась Нюра и добавила: – Если бы мне дали миллион, я бы даже и не знала, куда мне его девать.

– Ты не знаешь, да и я не знаю, а вот Зубаловы знают... На то и война такая началась, чтобы люди эти умели миллионы считать и знали бы, куда их девать... Война арифметике всех научит.

– Рас-суж-да-ешь ты! – протянула Нюра.

– Рассуждай ты, а я послушаю, – сказала Надя.

Заседание Государственной думы 26 июля все газеты называли историческим не потому только, что на нем выступал Сазонов со своим докладом о переговорах перед войной...

Депутатам хотелось узнать, что думают о начавшейся войне латыши, эстонцы, литовцы, поляки, которые прежде всего пришлось бы под удар немцев, если бы этот удар был направлен из Восточной Пруссии в сторону Петербурга.

Никто не сомневался, конечно, в том, что никто не позволит себе сказать хоть одно слово против России, но очень чутко вслушивались все не только в слова, в оттенки слов и даже в паузы между словами: искренне или не совсем говорит тот или иной из ораторов? От души и сердца, или только отбывает скучную повинность?

И депутат, выступивший от литовцев, сказал:

– В этот исторический момент я должен заявить от имени литовцев без различия партий, что судьбы нашего народа всегда были связаны с судьбою славянства. Литовский народ, на земле которого раздались первые выстрелы, идет на эту войну как на священную. Он забывает все обиды, надеясь увидеть Россию после этой войны великой и счастливой, твердо уверенный, что разорванные надвое литовцы будут вновь соединены под одним русским знаменем.

Декларация эта была коротка, конечно, но она не допускала двух толкований – она была выразительна и ясна, – и зал Таврического дворца ответил на нее громом аплодисментов.

От имени латышей и эстонцев говорил депутат латыш:

– Господа члены Думы! Один из первых выстрелов неприятеля прогремел в том крае, представителем которого являюсь я. Это было в Либаве. Но повелитель Германии глубоко ошибся, если полагал, что этот выстрел найдет отзвук в местном населении в смысле каких-нибудь враждебных выступлений против России. Наоборот, население Прибалтийского края, где подавляющее большинство эстонцев и латышей, в ответ на раздавшиеся выстрелы громко прокричало: «Да здравствует Россия!» И так это будет и дальше при самых тяжелых испыта-

ниях. Среди латышей нет ни одного человека, который бы не сознавал, что осуществление всего, чего латыши должны достигнуть, возможно лишь тогда, когда Прибалтийский край и в будущем будет составлять нераздельную часть великой России... В море крови, в котором захотел купаться восседающий в Германии тиран Европы, вольют, может быть, и латыши и эстонцы свою последнюю каплю, но для того только, чтобы постоянно угрожающий миру человек утонул, наконец, в этом море... Для нас, латышей и эстонцев, в нынешний момент превыше всего одна цель – отбить натиск общего врага, и я заявляю, что мы пойдем в святой борьбе до конца с русским народом. Не только наши сыновья, братья и отцы будут сражаться в рядах армии, но в каждой хижине, на каждом шагу неприятель найдет у нас дома своего злейшего врага, которому он сможет отрубить голову.

Не бурные аплодисменты, а подлинные овации думского зала были ответом на эту горячую речь.

Однако не он, не депутат литовец, а представитель польского коло привлек к себе внимание не только членов Думы, но и министров.

– В этот исторический момент, – начал депутат поляк, – когда славянство и германский мир, руководимый вековым врагом нашим – Пруссией, приходят к роковому столкновению, положение польского народа, лишённого самостоятельности и своей свободной воли, является трагическим. Трагизм этот усугубляется не только тем, что разорванный на три части польский народ увидит сынов своих в разных странах, друг другу враждебных. Но, разделенные территориально, мы чувствами своими и симпатиями со славянами и должны составлять единое.

Аплодисменты не только депутатов, но и министров прервали оратора. Немного выждав, он продолжал:

– Это нам подсказывает не только то правое дело, за которое вступилась Россия, но и политический разум. Мировое значение переживаемого момента отодвигает на второй план все внутренние счеты. Дай бог, чтобы славянством под главенством России был дан тевтонам такой же отпор, как пять столетий тому назад им был дан Польшей и Литвой под Грюнвальдом. Пусть пролитая наша кровь и ужасы братоубийственной войны приведут к объединению разорванного на три части польского народа!

Овации долго не прекращались после этих слов: представитель поляков сильно разогрел зал Таврического дворца.

Площадь перед дворцом во время заседания была полна народа. Из уст в уста передавалось, как от имени прибалтийских немцев выступал барон Фелькерзам, отбарабанив по бумажке, что «искони верноподданное население Прибалтийского края готово стать на защиту престола и отечества и голосовать за все военные кредиты», и как в ответ ему раздалось всего только два-три «дежурных» хлопка.

– Здорово!.. Поняли, с кем имеют дело! – кричали в толпе.

И тут же неожиданная, но воспринятая с радостью новость:

– А читали в вечернем бюллетене, что Метерлинк записался в армию волонтером?

– Метерлинк? Волонтером?.. Вот это так!

«Синяя птица», поставленная Московским Художественным театром, прогремела на всю Россию и сделала Метерлинка известнейшим писателем, и как нельзя более радостно были взволнованы все, что автор этой прелестной пьесы-сказки надел серую шинель солдата и стал в ряды защитников Бельгии от общего с Россией врага.

IV

Подробности того, что происходило на историческом заседании Государственной думы, передала сестрам их квартирная хозяйка Ядвига Петровна Стецкевич, дама с седыми буклями и пенсне, несколько излишне полная, но очень подвижная, способная проникнуть и в театр,

когда «все билеты проданы», и на бега, когда разыгрывался дерби, и в Думу, когда там ожидался «большой день».

Она хорошо и бойко говорила по-русски, и в первый же день знакомства с нею сестры узнали, что она неплохо умеет готовить, особенно польские блюда, как бигос, мнишки, розбратель и прочие, но что ей совершенно никогда не удавалось, так это варка варенья.

– Представьте себе, я четыре раза варила варенье, – оживленно говорила она, – и что же получилось в результате? В первый раз варенье заплесневело, во второй – засахарилось, в третий – прокисло, а в четвертый – в каждую из трех банок варенья попало по одной мыши!.. Ффу, я так ненавижу мышей, я так их даже боюсь, должна вам в этом признаться, и вдруг – мыши в варенье! Три огромных банки по полпуда в каждой – малина, вишня и райские яблочки, – и все это пошло в помойную яму!

– Очень жалко, что тогда меня не было у вас, – мечтательно сказала на это Нюра.

– А что бы вы хотели сделать?

– Я бы мышей, конечно, выкинула и сверчу варенье тоже, а зато остальное...

– Что, что «остальное»? – перебила от нетерпения Ядвига Петровна.

– Остальное бы переварила в трех тазах, и было бы у меня если не полтора пуда, то, допустим, пуд с четвертью, – быстро подсчитала Нюра.

– Во-от ка-ак! Вон какая вы сладкоежка!.. – расхохоталась Ядвига Петровна и бросилась ее целовать.

Вполне естественно это у нее вышло.

По ее словам, она очень уважала Николая Васильевича Невредимова, как солидного своего жильца, и эту приязнь перенесла с первого же дня на его юных сестер.

– У меня не то, чтобы какие-нибудь шамбр-гарни³, – говорила она, – у меня просто несколько большая для меня одной квартира осталась после покойного мужа, и я имею возможность сдавать из нее три комнаты, только, разумеется, с большим разбором: кому-нибудь первому попавшемуся я комнат не сдаю, я долго говорю с каждым, прежде чем сдать, кто он такой и чем занимается, и какие имеет привычки... Мне вам и сказать неудобно, какие иногда бывают у людей привычки!.. Так что я подбираю себе жильцов таких, которые безо всяких привычек.

Впрочем, у нее самой тоже была привычка перебирать своими полными плечами, выставляя вперед то одно, то другое, поднимая и опуская то одно, то другое. Лицо у нее было еще довольно свежее для ее почтенных лет, постарели только руки, кожа которых была в морщинах и даже в каких-то светло-коричневых пятнах.

Она была среднего женского роста, но от длинного капота фасона «гейша» казалась выше, чем была; капот же этот, канареечного цвета, с широкими рукавами до локтей, неутомимо мелькал целый день по всей квартире: то в комнатах, то в коридоре, то на кухне, то на балконе, где хозяйка сама развешивала и выколачивала свою постель, не доверяя этого прислуге Варе, женщине мало поворотливой и довольно робкой, недавно явившейся в Петербург из деревни.

Говоря об этой Варе сестрам Невредимовым, Ядвига Петровна жаловалась на ее бестолковость, но добавляла все-таки:

– Держу ее, однако, потому, что пока еще воровать не научилась.

Хотя Ядвига Петровна избегала жильцов с «привычками», сестры вскоре убедились, что привычки у занимавших другие две комнаты в квартире все же были. В одной жил бухгалтер какой-то частной банкирской конторы, имевший скверную привычку храпеть во сне, так что было слышно через тонкую стенку. В другой давно уже помещалась корректорша ежедневной

³ Меблированные комнаты (франц.).

газеты, которая приходила с работы рано утром и, хотя у нее был ключ от входной двери, все-таки будила сестер в неурочный час, а потом спала до обеда.

Благодаря этой своей жилище Ядвига Петровна иногда узнавала газетные новости раньше выхода в свет газет. Так, 2 августа рано утром узнала она, что верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич выпустил обращение к полякам.

Кое-что из этого обращения корректорша переписала в свою записную книжку и листок с записью передала с приходом хозяйке, так что, когда проснулись Надя и Нюра, Ядвига Петровна была уже в довольно большом сумбуре мыслей и чувств.

Еще не успели встать Надя и Нюра с кровати, как Ядвига Петровна уже читала им торжественным голосом воззвание:

– «Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польского народа, братского примирения его с русским народом. Русские войска несут вам благу вест этого примирения...» Что? Хорошо, а? Хорошо, говорите же!

– Очень! – сказала Нюра, сбрасывая одеяло.

– И даже неожиданно как-то! – сказала Надя, делая то же.

– Ну, а дальше несколько, мне кажется, хуже... Впрочем, на чей взгляд. Именно так: «Пусть сотрутся границы, разделявшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя. Под скипетром этим воссоединится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении». Как же это так «свободная в самоуправлении», когда ей обещают быть «под скипетром русского царя» – вот я чего не пойму!

И Ядвига Петровна заблестала стеклами своего пенсне далеко не так добродушно, как обычно. Надя же, силясь понять, что это в самом деле значит, сказала, наконец:

– Это, должно быть, так же, как, например, Финляндия: за станцией Белоостров, если из Петербурга ехать, там уж великое княжество Финляндское.

– Значит, так же, как и было, – тут же подхватила Ядвига Петровна. – «Царь польский, великий князь литовский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая», как в манифесте пишется? Только что Польша русская станет втрое больше, а так она и останется русская?

– Ну, хорошо, а как же иначе? – наивно спросила Нюра.

Теперь стекла пенсне Ядвиги Петровны блеснули откровенно зло, и она выкрикнула:

– Иначе, милая моя, может выйти так, что Польша будет самостоятельным государством, каким она была до раздела, – вот как может быть иначе!

И не будучи, очевидно, в силах справиться с сильным напором чувств, Ядвига Петровна тут же выскочила из комнаты сестер, взмахнув, как крыльями, широкими рукавами своей «гейши» и оставив Надю и Нюру в большом недоумении.

V

Вскоре после этого сестры прочитали в газетах еще одно воззвание того же верховного главнокомандующего, только обращался он теперь к русскому народу Галицкой Руси.

«Братья! Творится суд божий!

Терпеливо, с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяния свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.

Да не будет больше подъяремной Руси! Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой великой нераз-

дельной России... А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретенье русской силы!.. Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России!»

Конечно, это новое воззвание было прочитано также и Ядвигой Петровной, и она не могла удержаться, чтобы не обрушиться и на него бурным потоком слов.

– Очень странно, не правда ли? Вспоминает какого-то Ярослава Осмомысла, неизвестно даже когда и жившего, а ни одним звуком не обнаружил, что ему должно быть оч-чень хорошо известно, как и нам с вами!

– А что именно такое? – теперь уж не без робости спросила Нюра, в то время как Надя думала о том же самом.

– Как же так что, моя милая! Вы теперь уж студентка, и должны сами объяснять другим, что ведь в Галиции-то есть польские земли – часть Польского государства, а не какого-то Ярослава Осмомысла! При разделе Польши между Россией, Пруссией, Австрией они достались Австрии – только и всего! – как другие исконные польские земли отошли к России и к Пруссии... Мир не видал никогда такого варварства, какому подвергли тогда несчастную Польшу!.. И вот теперь оказалось уж, что Польшу желает великий князь объединить с Россией на тех же самых основаниях, как и Галицию... И почему, спрашивается, сочиняет эти воззвания великий князь, а не царь, – никто этого не понимает!.. Нет, как хотите, а приходится вспомнить пословицу, хотя она и неблагозвучна: рыба воняет с головы, – вот что!

Тут Надя, и это ей самой показалось странным, подумала, что ее квартирная хозяйка, которую она называла в разговорах с сестрой «очень симпатичной», вдруг обернулась стороной непримиримо враждебной, и даже то, что она сказала о рыбе, воняющей с головы, то есть о России с ее царем и дядей царя, великим князем, верховным главнокомандующим, ее покорило.

Перед войною она могла бы это сказать и сама, теперь же, когда началась война с Германией, когда от руководства войсками русскими зависела победа, а руководить ими поставлен великий князь, по-видимому не даром же, а за свои военные способности, хотя и неизвестные широкой публике, – она бы так о нем не сказала.

Вскинув на Ядвигу Петровну удивленные округленные глаза, она хотела даже ответить ей резкостью, но насилу сдержалась, вспомнила Ярослава Осмомысла:

– А в «Слове о полку Игореве» упоминается Ярослав Осмомысл, князь Галиции...

На это скромное замечание Нади Ядвига Петровна отозвалась яростно:

– Какое кому дело, что было при царе Горохе, когда лед горел, а соломой тушили?!.. Давным-давно в польских галицийских землях польская культура, и ни о каких Гостомыслах никто там ничего не знал и не знает!.. Это все равно, как если бы сказать, что там когда-нибудь тигры водились! Может быть, и водились двадцать тысяч лет тому назад, так что же из этого? Напустить в Галицию тигров, пусть опять там водятся? «От Варшавы до Кракова едне сердце, една мова» – вот как говорят у нас в Польше! И если нам не возвратят всех земель и не восстановят Польши, как самостоятельного государства, разве мы примиримся с этим положением? Никогда этого не будет!

И, точно Надя была виновата в обоих воззваниях великого князя, Ядвига Петровна посмотрела на нее острым уничтожающим взглядом и шумно выскочила из комнаты.

– Какая, а? – шепнула сестре Нюра, кивнув ей вслед, и добавила уже не шепотом: – Может быть, пойдем пройдемся?

Надя сразу же согласилась, что следует пройтись, и, спускаясь по лестнице, проговорила извиняюще:

– Надо все-таки войти в ее положение: ведь немецкие поляки должны будут теперь стрелять в русских поляков, а русские поляки в австрийских... Конечно, ей своих соотечественников должно быть жалко, – как же иначе?

Лекции на курсах еще не начинались, и можно было просто «пройтись». Но жизнь уже начинала читать юным сестрам свои суровые, строгие лекции, из которых нельзя было пропустить ни слова, так они были значительны, и часто на улицах звучали эти слова, притом не только у газетных киосков.

Улицы прежде такой чопорной столицы, как Петербург, теперь были возбуждены и говорливы. Теперь говорили даже в вагонах трамваев, в которых раньше царила чинная тишина. Теперь вообще петербуржцы стали общительны, насколько позволяла им их исконная замкнутость, сдвинутая с места важностью наступивших событий, последствия которых были пока еще очень загадочны, но во всяком случае должны были стать небывало еще в истории человечества велики.

На Аничковом мосту сестры встретили однокурсницу Нади, путиловку Катю Дедову. Ее отец работал модельщиком на Путиловском заводе, поэтому от нее Надя привыкла уже слышать о рабочих, о тех самых, которые шли когда-то, 9 января, к Зимнему дворцу, в которых стреляли под команду: «Патронов не жалеть! Холостых залпов не давать!»

Это был особый мир – Путиловский завод за Нарвской заставой. Надя знала, что там тысячи людей в длиннейших цехах готовят машины войны – пушки, что сам Путилов, владелец завода, почти то же самое для России, что для Германии – Крупп, что на этом заводе строят даже военные суда – миноносцы и крейсера.

Ей никогда не приходилось бывать ни на каких вообще заводах, и она с начала своего знакомства с Катей Дедовой относилась к ней с уважением за одну только ее прикосновенность к такому огромному заводу. Теперь же, когда началась война, это уважение выросло еще больше.

Нюра пытливо вглядывалась в плотную, крепкую на вид девушку, с крутыми щеками, выпуклым лбом, с не умеющими как будто совсем улыбаться губами, с густыми темными бровями, низко опущенными на небольшие карие глаза.

И голос у нее был низкого тембра, и с Надей она говорила как старшая с младшей, из чего Нюра вывела, что она, хотя и однокурсница сестры, но, должно быть, не одних с нею лет. И руки у нее были шире в кистях, чем у Нади. Так как стояли они трое теперь перед одним из вздыбленных бронзовых коней, которого хотел привести к покорности мускулистый бронзовый человек, то Нюре подумалось даже, что такая, как эта Дедова, пожалуй, тоже могла бы взять в свои руки повод и повиснуть на нем, чтобы прижать конскую голову поближе к земле.

На вопрос Нади, как на заводе настроены рабочие, Катя отвечала не то чтобы привычно хмуря свои густые брови, но как будто подчеркнуто хмуря их:

– Рабочие ведь теперь раскассированы: очень многих забрали в армию, несколько тысяч, а другие, которые тоже запасные или ополченцы, только очень нужные на заводе, – те оставлены, работают, только их предупредили, что чуть что – ушли под пули без разговоров.

– А что это значит «чуть что»? – не утерпела, чтобы не спросить, Нюра.

– Это твоя сестра? – спросила Дедова Надю вместо ответа Нюре.

– Сестра же, я же ведь тебе сказала! – удивилась Надя.

– Я не расслышала. Она на тебя похожа, – сказала неторопливо Дедова и, оглядев Нюру цепким взглядом, как бы вскользь бросила ей: – Рабочие останутся рабочими, хотя и война.

– И хотя работают на войну, – добавила Надя.

– А что может выиграть на войне рабочий? – глядя по-своему, то есть как будто исподлобья, недоверчиво и недовольно, на Нюру, спросила Дедова.

– Ничего ровным счетом, – храбро ответила Нюра готовой фразой, слышанной ею от сестры, хотя в смысл этой фразы она еще не удосужилась проникнуть.

– То-то и есть... Поэтому настроения у наших рабочих остались прежние. А как их расстреливали в июле, этого они не забыли.

– Разве расстреливали? В июле? – изумилась Надя, понизив голос.

– А ты разве не знала? Впрочем, это уж были каникулы, ты уехала домой... На заводе же, на дворе, в рабочих стреляли... Были убитые, много раненых. Потом многих арестовали...

Густой, почти мужской голос Кати очень шел – так показалось Нюре – к тому, что она говорила, и потом, когда они простились, так как Катя куда-то спешила, Нюра совершенно непосредственно сказала сестре:

– Вот такая могла бы идти впереди с красным флагом, а совсем не ты!

Это больно укололо Надю.

– Не я? Не я? Не говори глупостей!.. Катя, может быть, тоже захочет идти, только у нее не выйдет.

– Почему не выйдет? Именно у такой и выйдет.

– А я тебе говорю, что не выйдет! Я знаю Катю получше, чем ты.

– Зато она рабочих знает, а ты нет, – не сдавалась Нюра.

– А ты почему думаешь, что я не знаю?

– А где же ты их могла видеть? В Симферополе?

– Где бы то ни было, – упорствовала Надя.

– Нигде не видела, а туда же!

– Не раздражай меня, пожалуйста!

– Во-об-ражает в самом деле! – не унималась Нюра. – Только потому, что Сыромолотову понадобилась, а если бы он эту увидел, он бы на тебя и не посмотрел!

– Дедов? Сыромолотов? И на меня бы не посмотрел?..

Это не оскорбило, а развеселило Надю. Она засмеялась и дружелюбно уже толкнула сестру в плечо.

– Значит, ты уверена, что ему нравишься? – постаралась по-своему понять ее Нюра.

– То есть ты хочешь сказать, как «натура»? Я думаю, что у него были соображения по этому поводу.

– А если бы в то время у нас была эта Катя и вы бы вместе пошли к Сыромолотову, то он, конечно, выбрал бы для картины ее, а совсем не тебя!

– Это ты говоришь просто потому, что сама к нему равнодушна – вот и все! – выпалила одним духом Надя.

– Я? Равнодушна?

– Понятно! Иначе отчего бы ты покраснела!

– Нисколько я не покраснела, – возмутилась Нюра, чувствуя, однако, что еще гуще краснеет. – Ну да, теперь я все понимаю, – безжалостно продолжала она. – Только не понимаю, как же ты так, когда он уже старик?

– Что ты выдумываешь дурацкие глупости! – прикрикнула на нее Надя, но спустя немного добавила: – Сыромолотов пожилой человек, хотя стариком его никто не называет пока.

– То-то все ты носишься с его картиной! – соображала вслух на ходу Нюра. – Картина, картина! «Я с красным флагом! За мной демонстранты! Впереди полиция и войска!..» А все дело в том только, что ты...

– Замолчи, пожалуйста! – перебила Надя.

– Хотя вот мы учили «Полтаву» Пушкина, – продолжала тем не менее Нюра. – А там Мария влюбилась в старика Мазепу... Конечно, он был целый гетман, а не то чтобы какой-то художник, зато ведь и Кочубей был «богат и славен» и «его луга необозримы»...

Тут Надя бурно повернулась и пошла назад, и Нюре оставалось только повернуться тоже и пойти за ней следом, ничего больше не говоря, но в то же время улыбаясь слегка и с виду беспечно.

VI

После встречи с Катей Дедовой на Аничковом мосту два дня была Надя в сумятице чувств и представлений.

До этого хотя и думалось о демонстрации, но только как о теме для картины Сыромолотова: личное участие в подобном выступлении рабочих и интеллигентов сознанием откладывалось на неопределенное будущее. Теперь же раздвоилось то, что она считала единым и цельным в начавшейся войне. В одной стороне осталось прежнее: непременно должны победить; в другую отошло: а что будет потом, после победы?.. Может быть, потом, тут же, на другой день, вспомнят об ее брате Николае, который теперь офицер, – значит, нужен, – и его арестуют вновь? Может быть, из путиловских рабочих, которые теперь нужны, на второй день после войны половину сошлют в Сибирь?.. И нет правды в том, что говорила Ядвига Петровна? Как это в самом деле могло случиться, что целый народ в средней части Европы, целое довольно старое государство, взяли и поделили хладнокровнейшим образом три сильных его соседа? А теперь каждый из них, конечно, стремится только к тому, чтобы прибрать к своим рукам и остальные части, что и должно случиться, потому что надо же оправдать большие издержки войны. Наконец, из-за чего же и начинаются войны, как не из-за того, чтобы захватить у соседей что плохо лежит и так само и просится в руки?..

Сыромолотов как-то спросил ее, что, по ее мнению, значительнее, – война или революция, и она ответила, немного подумав, что революция, так как она способна прекратить на земле войны, если только хорошо удастся, а всякая война вызывает только новые войны. И вот теперь на досуге и уже во время ведущейся войны она придумывала один за другим доводы, подтверждающие тот свой ответ художнику.

Ей нравилось представлять себе, будто он спорит с ней, и она придумывала про себя, что он мог бы сказать ей, и опровергала его с большой горячностью. На это уходили у нее десятки минут, особенно когда она просыпалась ночью от храпа соседа или раннего прихода соседки.

Но, споря про себя с Сыромолотовым, она очень отчетливо представляла его себе, до того выпукло ярко, как будто он и в самом деле сидел рядом с нею и говорил. Она виделась с ним в Симферополе всего три раза, но должна была признаться себе самой, что он был теперь для нее совсем не безразличен как человек, что он как-то, сам того не желая, конечно, вошел в нее; и вот она его часто представляет, как только можно представить при полной силе воображения, и не без успеха пытается говорить про себя его словами.

Картина же, начатая им, – так как Надя помнила размер холста, – стала представляться ей на белой широкой стене против ее кровати, и ей стоило только поглядеть хотя бы вскользь на стену, чтоб ее увидеть.

Само собою выходило как-то так, будто у нее, еще очень юной филологички, есть некое общее дело с маститым художником, который хоть и укрылся в провинциальную даль, но все же не мог не быть виден всем, кому хотелось бы его видеть. И это поднимало ее в собственных глазах, она гордилась этим. Она думала о себе рядом с художником часто, и Нюра не могла этого не заметить, не проникнуть в тайники сестры.

Что же касалось Путиловского завода, то странную для себя новость услышала днем Надя от корректорши, Анны Даниловны Горбунковой, соседки, у которой оказалось какое-то жеваное и недожеванное лицо – желтое с просинью, тускло мерцали бесцветные глаза, а черные зубы зажимали мундштук папироски. «Быть корректором и не курить невозможно, все равно как резать трупы в анатомическом театре и не курить тоже нельзя», – объясняла она эту свою привычку Наде.

– Вот мы сейчас воюем с немцами чем? Пушками с Путиловского завода, а не угодно ли вам, ведь совсем было продали этот завод перед войною немцам, – сказала она выразительно.

– Как так немцам?! – приняла было это за шутку Надя.

– Очень просто, как продают такие предприятия: немцы совсем уже сладились с Путиловым купить акции завода на тридцать, кажется, миллионов, вот, значит, и был бы наш завод в немецких руках.

– Все-таки, выходит, не состоялась продажа?

– Нашим мерзавцам и горя было мало, да французы подняли крик и у немчиков выдрали акции из рук.

– Что вы говорите! А как же наше правительство? Ведь оно должно было знать?

– Разумеется, знало... Да ведь у нас какое правительство?

– Позвольте, Анна Даниловна, а вы откуда же это знаете насчет продажи завода? – вспомнила вдруг Надя, что Дедова ей ничего такого не говорила.

– Вот тебе раз, откуда знаю, – криво усмехнулась Горбункова. – Должна же я свою паршивую газету читать, раз я из нее вычесываю ошибки-опечатки!

– Постойте-ка, почему же она паршивая? Какая же это именно газета? – спросила Надя, чувствуя неловкость, что не догадалась раньше спросить об этом у Ядвиги Петровны.

– Вот тебе на, «какая»!.. «Русское знамя», самая черносотенная, – даже с некоторым ухарством сказала Горбункова, потом затынулась, зажав ноздри крупного носа, и обволоклась дымом.

– «Русское знамя»! – почти испугалась Надя.

– Что? Скверно?.. Порекомендуйте меня в «Речь» – перейду в «Речь», – спокойно отозвалась на ее брезгливость корректорша. – Впрочем, теперь в нашей газете самая либеральная линия почти: мы против немецедства... Не знаю, сколько наш издатель Дубровин взял с немцев, только он теперь за них горой стоит.

– За немцев! Что вы! Неужели?.. А как же ему позволяют?

– Да ведь за наших немцев! За тех, разумеется, какие в России у нас. А не один ли черт в конце-то концов. Всякий понимает, что все они в одну дудку дуют. Вот и продудели бы Путиловский завод, если бы не французы!..

– Постойте, как же так? – выкрикнула Надя. – Ведь это газета «Союза русского народа»!

– А между тем ведет себя совсем рыцарски: не желает знать разницы между русским народом и немецким, милые, дескать, бранятся, только тешатся!.. Ну, война и война, а зачем же отношения портить? Ведь у нас с немцами старинное соседство!

И недожеванное лицо Анны Даниловны приобрело на момент выразительность, чтобы потом утонуть в клубах очень почему-то густого табачного дыма.

В этот же день вечером, когда сестры были дома, к ним таинственно вошла Варя, поднесла к своему носу, похожему на утиный, уголок розового ситцевого фартука, с возможной для нее вальковатой поспешностью утерлась и сказала потихоньку:

– Какая-то к нам дамочка высокая заявила, Николай Васильича спрашивает, а я ей сказала: «У нас такого духу-звания нету, а есть Андрей Андреич, бухгалтер...» А она свое: «Не может быть, здесь он жил, а куда же в таком случае делся?» И стоит, не уходит, и вещишки при ней... А хозяйка куда-то ушедши, и никого, кроме вас, дома нету...

– Так Николай Васильевич – это же брат наш! – вскинулась Нюра.

– Бра-ат?.. Ну, вот она, с вещишками своими к нему, значит...

И у сорокалетней Вари стало просветленно-понимающим все широкое, скуластое, плоское лицо, а Надя выскочила в коридорчик и оттуда донесся до Нюры ее радостный крик:

– Ксения! Ксюша!..

В этом крике было так много ей понятного и дорогого, что она мимо Вари бросилась тоже в коридор.

И когда Варя убедилась, что она ошиблась, что это не случайная какая-то жена, а проще сказать любовница, явилась с «вещишками» на жительство к брату барышень, а их старшая

сестра, притом вырвавшаяся из рук немцев, она поднесла другой уголок своего розового фар-тука теперь уже к глазам и тихо вышла из комнаты.

Ксения же поразила сестер своим новым видом: такую они ее не представляли.

Высокая, с заострившимся, худым, усталым лицом, с бессильно опущенными тонкими руками, слегка сутуловатая, в шляпке, какой они на ней не видели раньше, может быть купленной там, за границей, широкополой, но как будто измятой и даже грязной, в платье, тоже каком-то несколько странном, или просто заношенном и тоже грязном, она обвела комнату сухими, с большим блеском, воспаленными, красноватыми глазами и спросила глухо и натуженно:

– А где же Коля?

– Ведь Коля – прапорщик, он взят в армию, – ответила Надя и тут же, стараясь остаться радостной, добавила: – Садись же, чай сейчас пить будем!

– Что ты такая, Ксюша? – обескураженно спросила Нюра, взяла старшую сестру за руку и только что хотела к ней прижаться, как та отдернулась резко.

– Не прикасайся ко мне! Я вся избитая!.. На мне нет живого места!.. Мне везде больно!.. У меня половину волос вырвали!.. Меня ногами топтали...

Выкрикивая это, Ксения пятилась от сестер и, когда ткнулась коленом в диван, как-то подстреленно-глухо вскрикнула, упала на него ничком, и все длинное, тонкое тело ее, крупно вздрагивая, забило от рыданий.

Глава третья

Художник и война

I

Перед Архимедом, защищавшим свой родной город Сиракузы от римлян, стал кто-то и наступил на чертеж, который он делал на песке палкой. Архимед сидел, углубленный в свой чертеж. Это был проект новой катапульты, способной метать в осаждающих гораздо большие камни и гораздо быстрее, чем все им же сделанные машины.

– Не трогай моих фигур! – крикнул Архимед тому, кто бесцеремонно близко подошел к чертежу и стоял молча.

Великий физик не считал даже нужным поднять на него глаза: он смотрел на свои фигуры, попираемые чьими-то варварскими ногами, и силился восстановить их в своей памяти.

Но подошедший так некстати был воином одной из когорт, ворвавшихся в Сиракузы. У этого воина был в руке короткий меч, чтобы убивать, подойдя вплотную. И, взмахнув мечом, он убил Архимеда.

Художник Сыромолотов, сидя у себя дома, в Крыму, в Симферополе, вспоминал этот древний рассказ, когда смотрел на свою картину «Демонстрация», сильно и смело им начатую, но еще далекую от воплощения того, что он задумал изобразить. Пришел воин – не римлянин, а тевтон, – и наступил сапогом на картину.

Вышло не совсем так, как у Архимеда с его чертежами на песке: он, Сыромолотов, мог бы продолжать задуманную работу – он был жив, он был по-прежнему силен, никто не собирался его убивать ни коротким, ни длинным мечом; но в то же время он осязательно чувствовал, что продолжать не может, что начатый им холст не только раздавлен солдатским сапогом, но и отброшен куда-то далеко в сторону вместе с подрамником, на котором он был набит.

И стало место пусто вместо возможной, а главное, новой для него самой картины, потому что жизнь, вдруг нахлынувшая и всех – его тоже – охватившая, оказалась гораздо более новой и значительной, что ни говори о ней.

Иногда он пытался думать пренебрежительно: «Война, да, война... Что из того, что война? Была же ведь, например, война с Японией, погиб тогда Верещагин вместе с адмиралом Макаровым на „Петропавловске“... Глупо, что погиб, но в общем жили себе люди, как и до войны жили...»

Той войной он пытался отмахнуться от этой, но она стояла неотступно, как римский легионер перед Архимедом. И не потому даже коснулась она его так ощутительно, что сын его Ваня, спешно продавший за полцены свой дом, призван был в ополчение и уже направлен в школу прапорщиков. Он давно уже привык обходиться без сына, даже забывал иногда, что есть у него сын. Но живопись была его подлинной и полноценной жизнью, кроме которой существовала «натура», то есть то, что могло попасть на его полотно, но могло и не попасть, если не стоило того.

И вот, это был первый случай в его живописи, – то есть жизни, – что она потускнела перед чем-то другим, несравненно более значительным, которое надвинулось неотразимо и от которого стало тесно душе.

Внешне как будто ничего не изменилось в его жизни. Он вставал так же рано, чуть свет, как вставал раньше, потому что вместе со светом солнца начиналась его ежедневная жизнь, то есть живопись. Он упорно не хотел думать о войне, так как она его лично, художника Алексея Фомича Сыромолотова, совершенно не касалась: в армию взять его не могли – для этого он

был уже стар, – поэтому он вполне мог бы смотреть на эту войну так же издали, со стороны, как смотрел на войну в Маньчжурии. И, однако, привычно работая кистью, он, изумляясь самому себе, стал замечать, что его как будто держит кто-то за руку и делает его кисть бессильной.

Марья Гавриловна, его экономка, уходя по утрам на базар, неизменно приносила ему свежие газеты или даже экстренные выпуски телеграмм, и он, раньше вообще не читавший газет, не только не в состоянии был запретить ей это, но даже прочитывал все против своей воли.

Полученный им на международной выставке в Мюнхене диплом он изрезал и бросил в топившуюся на кухне плиту, а золотую медаль лично занес в местный Красный Крест, открывший прием пожертвований в пользу раненых. Но это если несколько облегчило его, то на весьма короткое время – на час, на два. Скованность, связанность, сжатость продолжались. Что-то необходимо было выдвинуть из себя, чтобы стряхнуть их, но ничего такого не находилось. Наводнение, новый всемирный потоп, и он, как Ной, в утлом ковчеге.

Когда его спрашивали, отчего он, уже близкий к шестидесяти годам, так упорно не поддается времени, он отвечал, с виду шуточно, однако вполне убежденно:

– Поддаваться времени? Что вы, помилуйте! Да у меня и времени для этого нет.

Необщительный с людьми, он был очень разговорчив с «натурой», которую писал. Тысячи соображений мелькали у него в мозгу, даже когда он писал просто пейзаж с природы. Это было глубокое проникновение в анатомию, в мускулатуру и костяк деревьев, холмов, человеческого жилья где-нибудь на заднем плане, яркого куста цветущего шиповника на переднем, извилины песчаного берега неглубокой, узенькой речонки...

Все было и сложно, и каждый день, и каждый час во dniu ново, а живая натура, конечно, наводила на гораздо большее количество мыслей, чем пейзаж.

Жизнь не сужалась с годами, нет; она разворачивалась шире и шире, познавалась глубже и глубже, давала задачи трудней и трудней, и как же можно было вдруг отстать от ее стремительного бега, постареть?

Но вот совершенно неожиданно, необъяснимо на первый взгляд, – какой крутой поворот в сторону и назад сделала она вся сплошь.

Нераздельно как будто спаянная с живописью жизнь вдруг оторвалась от нее, бросилась, ошеломляюще грохоча, именно назад, не вперед, не к созиданию – к разрушению, а живопись – его, Сыромолотова, жизнь – осталась сама по себе брошенной и ненужной.

Как будто только что развивал перед огромной толпой слушателей свою находку в лабиринте человеческих мыслей, нанизывая образ на образ, подходил уже к выводу, ясному, как день, но вся толпа вдруг, сколько ее было, засвистав, захохотав, бросилась к выходу, а он остался один, с открытым от изумления ртом, с застывшим на языке словом.

Шесть конных фигур задумано было им на картине «Демонстрация», и временами им овладевало сомнение: не много ли? Миллион конных фигур готовила война для полей сражений и подсчитывала: не мало ли? И Сыромолотов наперед соглашался с тем, что будет мало. Всего только миллион конницы! Мизерно, скупо, необходимо удвоить, утроить...

Когда он ставил Надю Невредимову в центр своей картины, он думал: «Вот порыв! Вот взлет молодости, готовый принести жизнь в жертву идее!.. И рядом с той, которая в центре, сколько других, идущих на такую же жертву!.. Десятки, сотни, может быть!..»

На огромнейшее полотно выводились другим художником – Историей – десятки миллионов молодых, из которых треть, если не половина, будет покалечена и убита, даже не успев никого спросить, во имя чего именно и зачем.

Однако же все шли на такой грандиознейший бой, какого еще не знало человечество. А он, художник, всю жизнь бившийся с тем, что не хотело поддаваться, не лезло в рамки его холстов, теперь точно остался не у дел, вышел в отставку.

Он всячески пытался убедить себя, что его «Демонстрация» важнее, чем начавшаяся война, однако не мог убедить, тем более что ведь сам-то он не пошел бы с красным флагом впереди толпы рабочих под пули полицейских и вызванных в помощь им солдат.

II

Если раньше, до войны, Сыромолотов, солнцепоклонник, неослабно наблюдал игру света и теней и чередование красочных пятен, то теперь, в первые дни уже начавшейся войны, он вглядывался в людей.

Пожалуй, был при этом налет враждебности, будто каждый извозчик или водовоз был виноват в катастрофе, каждая торговка жареной печенкой на толкучке причастна к тому сдвигу в мировой жизни, который заявлял о себе ежедневно.

Точно человек около него, кто бы ни был, стал вдруг совершенно новым: Сыромолотов не замечал женских слез, не слышал причитаний, когда был на вокзале, где провожали запасных.

– Что это за чепуха такая, хотел бы я знать, словно подменили всех? – сердито спрашивал он, придя домой, Марью Гавриловну. – Я ведь отлично помню, да и вы должны помнить, как бабы провожали своих мужей во время японской войны, какой тогда вой они подымали. Отчего же теперь воя нет? Полиция, что ли, им запрещает?

– Кто же их знает, – начала раздумывать вслух Марья Гавриловна, но вдруг добавила, отвернувшись: – Ведь вот же когда Иван Алексеевич уезжал взятый, вы же ведь тоже... не то чтобы я хочу сказать не плакали, а вообще...

– Ну да, еще чего! Чтоб я по таком балбесе плакал! – осерчал Сыромолотов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.